

БИБЛИОТЕКА

ОГОНЁК



Лев Кассиль

**Становой
хребет**

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ТЕРРА»
КНИЖНЫЙ КЛУБ

БИБЛИОТЕКА «ОГОНЕК»

Издается с 1925 года

ЛЕВ КАССИЛЬ

СТАНОВОЙ ХРЕБЕТ

Рассказы



Издательский дом «Огонек» — «Терра—Книжный клуб»
Москва — 2008

Редакция журнала «Огонек» выражает искреннюю благодарность Владимиру Львовичу Кассилью, Ирине Львовне Собиновой-Кассиль и Ларисе Владимировне Кассиль за помощь в подготовке переиздания книги.

ОБ АВТОРЕ

Лев Абрамович Кассиль (1905—1970). «К существованию я приступил в 1905 году. Произошло это в слободе Покровской, ныне городе Энгельсе, что против Саратова на Волге, 10 июля по новому стилю. Время было жаркое, да и год, как известно, шел горячий — год первой русской революции, год, называемый “генеральной репетицией”», пишет в своей «Попытке автобиографии» Лев Кассиль.

С 1925 года начинается его литературная деятельность. Он привлекается В.В. Маяковским к работе в журнале «Новый ЛЕФ» (1927), в 1920—1930-х годах сотрудничает с журналом «Пионер», более девяти лет работает в газете «Известия». Выходят в свет первые книги Кассиля для детей: «Вкусная фабрика» (1930), «Планетарий» (1931), «Лодка-вездеход» (1933), автобиографические повести «Кондуит» (1930) и «Швамбрания» (1933), в 1935 году объединенные в одну книгу. О спорте: «Вратарь Республики» (1938), «Ход белой королевы» (1956), «Чаша гладиатора» (1960). В годы Великой Отечественной войны Кассиль работает военным корреспондентом на Северном флоте. Пишет книги о детях войны: «Черемыш, брат героя» (1938), «Дорогие мои мальчишки» (1944); «Великое противостояние» (1941—1947), «Улица младшего сына» (1949, совм. с М.Л. Поляновским), за что в 1950 году оба писателя были удостоены Государственной премии СССР.

В 1965 Кассиль был избран членом-корреспондентом Академии педагогических наук СССР.

Печатается по изданию 1939 года.

«ПРЕЗИДЕНТ ФОН ВАЛЬТЕР» И ЕГО СЫН

Спектакль кончился без четверти двенадцать. Давали Шиллера, «Коварство и любовь». Пьеса шла в театре первый раз, и день был каторжный. Уже с утра в городском саду над окошком кассы висел аншлаг.

Спектакль прошел без единой накладки, играли дружно, с подъемом, и теперь публика, сгрудившись у барьера оркестра, неумоимо вызывала артистов.

Актеры выходили вереницей, брались за руки и кланялись. «Фердинанда! — кричали из зала. — Осколова! Рощину-н-у! Гайранского!..» Чей-то бас колокольно ухал сверху: «Би-ы-ы-с... Би-ы-ы-с!!!»

Павел Дмитриевич Гайранский также выходил со всеми, раскланиваясь в зал, а потом в сторону артистов, которые теперь тоже хлопали ему как режиссеру. Потом выходили на вызовы за занавес, потому что на сцене рабочие разнимали павильон квартиры Миллера и волокли пандус с надписью углем на задней стороне «Чапаев»: ставили декорации для завтрашнего утренника. В зале, где уже давно был потушен свет, все еще кричали. «Фердинанда!.. Осколова!» — не унимался высокий женский голос. Ему вторил старательный старческий тенорок: «Гайранского!» Но Павел Дмитриевич уже спускался к себе в уборную, стянув на ходу со взмокшей головы напудренный парик президента.

— Ну, Павл Дмитич, двадцать очков фору всем вперед можете дать, честное слово! — сказал ему старый машинист сцены. — Эх, что значит артист в полном смысле!

В уборной Гайранского толклись благоговеющие студийцы и какие-то незнакомые девицы, которые, робея и кокетливо прыскавая, совали Павлу Дмитриевичу букеты с записочками: «Несравненному Отелло», «Талантливому Чапаеву», «Незабываемому Кречинскому», «Замечательному фон Вальтеру». В уборной пахло каким-то кремом и было много зеркал. Одно, длинное, — над столиком, другое, высокое, от самого пола, — в углу, третье — над диваном. Лампочка, низко спущенная на шнуру, отража-

лась в зеркалах и освещала тюбик с вазелином, растушевки, плиточки грима в жестяной коробке и смятый галстук-самовяз, брошенный на стол. Проникшие в святилище старались не замечать этот предмет, выглядевший уж слишком мирским.

Гайранский стал медленно и выразительно расстегивать пуговицы на мундире, и почитатели поняли, что пора уходить. Но едва они оставили Гайранского, как в уборную налез свой народ: актеры, друзья, довольный директор.

— Ну, дорогой, поздравляю!

— Паша, родной, дай я тебя обниму! Хорош, хорош, старик!

— Вот что, милые, — сказал довольный и растроганный Гайранский, — айда-те ко мне, посидим, потолкуем... ей-богу, а? Жены нет, в Кисловодске. Хорошо... Премьеру спрыснем немножко.

— Неудобно, — возразил Осолов, еще не снявший мундир Фердинанда. — У тебя ребенок, всполошим еще...

Комик, игравший музыканта Миллера, ткнул Фердинанда сзади в спину, но было уже поздно.

— Что? Вадьку разбудите? — сказал Гайранский. — Да вы можете весь наш оркестр захватить, и все шумовое оформление из «Грозы», и петарды из всех наших оборонных постановок — он и ухом не поведет. Вы не представляете себе, как он спит. Это вообще такой парень. Вот на днях утром...

Тут догадливые поспешили захватить близстоящие стулья и расселись, а менее дальновидные, вздохнув, приготовились слушать стоя, ибо все знали, что когда Гайранский начинает говорить о своем Вадьке, то быстро тут не отделаешься.

Фотография худенького мальчика лет шести торчала из-за зеркала над столом.

Гайранский женился поздно на одной из своих молоденьких поклонниц. Девушка тронула актера своим почитанием и бескорыстным пылом театралки. Уже через месяц после свадьбы Павел Дмитриевич понял, что совершил непростительную глупость: супруга оказалась крикливой, безвкусной бабешкой, которая к тому же, став женой актера, быстро охладела к самому театру, вернее, к тому, что происходило на сцене, но зато с ужасающим жаром вмешивалась во все, что делалось за сценой. Скоро родился Вадька. Гайранский привязался к мальчику той особой заботливой и вечно встревоженной страстью, не отцовской даже, а скорей дедовской, с которой любят своих первенцев

уже немолодые мужчины. Они были друзья с Вадькой, настоящие друзья. Гайранский уже представить себе не мог, как это жил без мальчишки. Если бы не увещевания друзей и запрещение доктора, он бы уже с двух лет стал водить Вадьку в театр. Он считал дни и часы, когда наконец он сможет привести в театр сынишку, посадить его в ложу и сыграть перед ним какую-нибудь героическую и благородную роль. День этот наступил, когда Вадьке минуло шесть лет. И Гайранский, игравший в этот день Чапаева, волновался так, как не волновался, может быть, со дня своего первого дебюта. Но он здорово сыграл в этот день Чапаева для своего мальчика.

— Ну, понравилось тебе? — спрашивал он потом Вадьку.

— Ты лучше всех мне понравился, — отвечал Вадька, — как ты этого там... какхватишь!..

По утрам Вадька прилезал к нему на диван, сонный, весь окутанный неостывшим пододеяльным теплом. На столе рядом лежали благодарственные адреса в шагреновых переплетах, янтарные мундштуки, стояли фотографии королей и принцесс с их личными подписями «Дорогому Паше на память от Офелии», а на углу стола, зажатые бронзовой рукой, лежали программки спектаклей. В прокуренном кабинете на большом диване, где спал Гайранский, они беседовали по утрам — отец и сын. И сейчас Гайранский предвкушал, как завтра утром Вадька прилетит к нему и спросит: «Долго вчера хлопали? Сколько раз, чтоб кланяться, выходил? У! Восемь! Ого!»

Выслушав очередной рассказ о Вадьке, переодевшись и разгримировавшись, припудрив натруженные саднившие лица, артисты двинулись всей компанией к Гайранскому. Вечер был теплый. В саду, где стоял театр, еще не кончилось гулянье. Пахло дождем от недавно политых дорожек, бабочки бились о стекла фонарей. В темном подъезде дома, где жил Гайранский, компания смутила парочку. В подъезде миловались Вадькина няня Дуся и осветитель театра Сережа, работавший на выносном прожекторе.

— О, уважаемый просветитель, кого ты тут просвещаешь или ослепляешь своим сиянием? — спросил комик.

— Добрый вечер, Павел Дмитриевич, — сказал Сережа-осветитель.

— Как Вадим? Писем не было? Никто не звонил? — больше для порядка спросил Гайранский у няньки.

Гости прошли в квартиру, зажгли свет. На столе появились бутылки.

— Хорошо у тебя, проторно как-то, — сказал Осолов.

— Без жены всегда просторно, — сказал Гайранский и пошел к дверям комнаты, где спал Вадька. — Я сейчас, только на Вадьку взгляну, как ему там живется во сне.

— Ну, пропал теперь на час, — вздохнул комик. В комнате, где спал Вадька, было темно и тихо. Может быть, даже слишком тихо. Павел Дмитриевич недоверчиво прислушался. Обычно в комнате летало легкое дыхание мальчика. А сейчас ничего не было слышно. Гайранский подошел к кровати, наклонился и услышал, как Вадька перевел дух, словно прежде долго сдерживал что-то в себе.

— Ты, мальчуга, не спишь?

Гайранский зажег свет. Вадька, который всегда спал, собравшись в комочек — колени к подбородку, — лежал сейчас, подозрительно вытянувшись, лицом к стене, в аккуратной позе мальчика, который даже во сне слушается папу и маму. Непохоже это было на Вадьку. И глаза его не были просто закрыты: они были старательно зажмурены, и веки легонько вздрагивали.

— Не спишь, не спишь, вижу, — сказал Гайранский, — притворяшка.

Мальчик молчал. Темные пятна виднелись вокруг его головы на подушке. Гайранский потрогал — сыро.

— Ты что это, Вадька? Что с тобой?

— Потуши электричество, — сказал Вадька, не двигаясь, даже зубов не разжимая...

— Ты что это, ревел тут?

— Ну, потуши же! — повторил мальчик.

— погоди... ты без меня плакал?

— Ну, потуши, папка!

— Да в чем дело? Что с тобой, мальчуга? Позднотища такая, а ты не спишь. Всю подушку обрвел... Дуся! Где эта, черт, Дуся? Вот оставляй ребенка, — Гайранский совсем уже забеспокоился. — Желудок у тебя был? Голова не болит?

— Ну, потуши же, — сказал мальчик.

— Хорошо, я потушу, ты только скажи: плакал, что ли?

— Да, — сказал Вадька.

— С какой же это стати, глупешка? По маме соскучился?

— Нет, я не из-за мамы, — проговорил мальчик.

— А из-за чего же?

— Из-за тебя, — сказал Вадька с сердцем.

— Из-за меня?! — удивился Гайранский.

Вадька вдруг опять всхлипнул и стал зарываться головой под подушку.
— Уходи ты, — сказал он, — ну, уходи, не хочу я с тобой!

В дверь постучали.

— Павел Дмитриевич. Папа! — сказали за дверью. — Хватит там тебе играть благородного отца. Сколько тебя ждать? Ну и хозяин — зазвал, а сам... Во рту все пересохло!

— Сейчас, сейчас! — крикнул Гайраиский. — Тут с Вадькой что-то неладно... Слушай, мальчуга... родной ты мой! Что ты, милый, так расстроился? Вадька приподнял голову и прислушался к голосам за дверью.

— Пускай они уйдут, — сказал он, — пусть они лучше к нам не ходят.

— Ну, Вадим, хватит, — рассердился Гайранский, — покапризничал, и будет.

Мальчик сел на постели, глаза его высохли.

— Папа, ты не за нас? — спросил Вадька.

— То есть как это «не за нас»?..

— Ты против нас, да? Я знаю! — и Вадька опять заплакал. — Я видел. Зачем ты так сегодня плохо играл!

Гайранский смутился и сел на стул.

— А ты? Ты откуда знаешь? — сказал он. — Кто тебе сказал?

— Ну, я сам видел.

...В театр Вадька попал сегодня неожиданно и тайком от отца. И он дал самое честное слово, что он ничего не скажет об этом папе. Осветитель Сережа достал пропуск няньке Дусе, и они пошли. Контролерша у дверей театра не хотела пропускать Вадьку: «Что вы, куда на вечерний такого!» — «Это Павла Дмитриевича сынок», — сказал Сережа-осветитель, и их пропустили. Никогда Вадька не сидел в театре так высоко. А занавес оказался совсем сбоку, а не напротив, как всегда, и был он так близко, что если хорошенько высунуться, то можно было потрогать материю. Люди внизу были все маленькие, и было почему-то очень много лысых. Никогда в жизни не подозревал Вадька, что люди так плешивы. Зато прожекторы, которые казались раньше снизу такими маленькими, были тут огромными и смахивали на барабаны, стоящие торчком, на черные барабаны со стеклом вместо кожи. Невероятно большими оказались также лепные виноградины на карнизе — каждая как яблоко. На гипсовых листьях лежала толстая пыль. Сережа посадил Вадьку у самого барьера, под большой прожектор, а сам стал прилаживать стекла. Над головой у Вадьки что-то засипело, потом за стеклом прожектора стало жужжать и потрескивать, словно туда попал большой жук.

Рядом, в соседней ложе, сидели немолодая женщина в темном платье, два красноармейца и старичок в форме железнодорожника.

Скоро занавес осветили снизу, а лампочки под ногами у Вадьки во всем театре стали словно прищуриваться, а потом совсем зажмурились и погасли. Сережа повернул свой прожектор — оттуда вылетела большая труба пыльного голубого света. Сережа тронул этим светом занавес — и сразу образовалась там расселина сверху донизу, и занавес раздвинулся, и углы его завернулись, подымая пыль, и ветерок коснулся щек Вадьки.

Всегда, как только занавес открывался, Вадька начинал волноваться, что он может скоро опять закрыться и действие кончиться. А лучше бы он никогда не закрывался и все время без конца представляли бы на сцене, играла музыка и Сережа прожектором показывал артистам, куда надо ходить.

Так сперва было и сегодня. Ничто не предвещало беды. И в первой картине Аркадий Михайлович, комик — Вадька сразу узнал его, — хотел ударить виолончелью свою жену, но та не далась. Это было очень смешно.

— Дуся, — спросил Вадька шепотом, — Дуся, он кто будто?

— Музыкант, — сказала Дуся.

— А за что он ее хотел так?

— Чтoб не спорила, за кого дочку замуж выдавать.

— Сейчас еще не скоро конец? — беспокоился Вадька.

— Да сиди ты, пожалуйста!

— Еще много будет действий?

— Да будешь ты молчать или нет?!

— А папа скоро будет?

Отец появился во второй картине. На отце был очень красивый мундир, белые, как взбитые сливки, волосы, и звезда на груди. «Генерал, — подумал мальчик, — и генералы тоже бывали ничего: Кутузов, например, или Суворов». Но скоро Вадька почувствовал недоброжелательство в зале. Люди в театре не одобряли поведение на сцене Вадькиного отца. Мальчик взглянул в соседнюю ложу с опаской. Военные смотрели на сцену, на Вадькиного отца, хмуро: генерал не нравился им. «Неужели не за нас?...» — мальчик почувствовал что-то неладное.

Вадька привык делить всегда персонажей пьес на тех, кто за нас и против нас. Сколько он ни видел отца на сцене, тот всегда был за нас. Он был храбр, честен, злодеи трепетали, враги сдавались, в зале все стояли за него, и он побеждал, и ему хлопали. А сегодня Вадька почувствовал, что в зале все невзлюбили папу. Только один раз засмеялся зал на слова

Вадькиного отца. «У нас редко случаются такие браки, чтобы по крайней мере полдюжины гостей или официантов не могли геометрически измерить женихов рай», — сказал отец, и при этом Сережа-осветитель ущипнул за локоть няньку, а Дуся покраснела и сказала: «И ничего я не поняла. Оставьте, пожалуйста».

Но дальше пошло совсем плохо. Генерал оказался совсем дрянным человеком. Он был страшен и всем портил жизнь на сцене и испортил всю пьесу, которая началась так уютно и с музыкой. Даже нянька Дуся не могла стерпеть.

— Ах, вредный! — изменнически прошептала она.

И Вадька отодвинулся от нее. Но тут он услышал, как красноармеец в соседней ложе, ударив кулаком о барьер, сказал:

— Ну и хамлет, скот! Видал, что задумал?

— Нельзя ли не мешать, — сказал старичок в железнодорожной форме не оборачиваясь.

— Виноват, мы, кажется, по ходу пьесы, — обиделся красноармеец.

— Шиллер ваших примечаний не требует, — сказал старичок.

И Вадьке показалося, что старик заступился за папу. У Вадьки еще теплилась надежда: может быть, еще не все знают, кто играет этого мерзкого генерала. Но в антракте красноармеец в соседней ложе спросил женщину:

— Президент-то кто?

— Гайранский, — сказала женщина, заглянув в программу, — заслуженный.

— Широко известный, — добавил старичок.

— Ну и тип! — проговорил красноармеец.

— Что вы хотите, абсолютизм, — сказал старичок. Дальше было еще хуже. Сегодня Вадька уже ждал, когда же наконец закроют занавес, когда кончится эта ужасная пьеса. Но занавес не закрывался. Все было распахнуто на позор. Позор освещали сверху и снизу. Сережа-осветитель тыкал своим лучом прямо в лицо президенту, да еще ставил цветное стекло. Какой-то зеленоватый, как рыбий жир, свет лился на сцену, и совсем было противно глядеть на папу. И хотя Вадька еще не мог разобраться во всем, что происходило на сцене, но он видел, как мучаются девушка Луиза и красивый офицер Фердинанд. Все были за них, все их жалели, и все ненавидели генерала-президента. Но Вадька не мог предать отца. Он все ждал, он все еще надеялся, что президент вдруг выйдет к самому краю сцены и скажет:

— А я все шутил, что злой... Я на самом деле вовсе добрый. Я просто пугал только. Пожалуйста, женитесь друг на дружке сколько хотите.

Но президент не раскаивался и в конце второго акта вторгся на сцену с полицией. Театр замер. На сцене Луиза упала в обморок. Нянька Дуся вся помертвела, слезы потекли в ее открытый рот; военные в соседней ложе громко задышали и отвернулись друг от друга. Только старичок-железнодорожник еще кое-как держался. А у Вадьки вдруг потекло из глаз: от почувствовал, что сейчас произойдет что-то ужасное. И ужасное произошло. Когда Фердинанд выхватил шпагу и, поранив полицейских, направил острие на президента, Вадька вдруг почувствовал, что он хотел бы, чтоб Фердинанд ударил отца. Но отец выставил вперед нарядный живот и сказал: «Посмотрим, тронет ли мою грудь эта шпага!» И Фердинанд не смог, не смог ударить отца... И выходило, что Фердинанд фон Вальтер был более верный сын, чем Вадим Гайранский. Тогда Фердинанд сказал, что он вместе с невестой пойдет на казнь. Театр ужаснулся. «Тем забавнее будет спектакль», — ответил отец к негодованию зала и Вадьки. Фердинанд сказал тогда, что он бросит шпагу к ногам невесты. Отец обругал и шпагу. Фердинанд тогда один хотел заколоть невесту и уже занес над ней клинок. Дуся ахнула на весь театр. Но и это не тронуло отца. «Так я расскажу по всей столице о том, как попадают в президенты!» — вскричал тогда Фердинанд, и отец страшно испугался, весь задрожал, и велел полицейским освободить Луизу, и сам побежал со сцены.

И все вскочили и захопала. Красноармейцы в соседней ложе хлопали так громко, что с лепных гипсовых украшений посыпалась пыль. И даже старичок-железнодорожник хлопал вместе со всеми, хлопал добросовестно, мелко и часто, почти не разводя ладоней. Всех, всех примирила ненависть к Вадькиному отцу — президенту. Мальчик заметил вдруг, что он сам аплодирует. Он с размаху стиснул ладони и сел, ни на кого не глядя.

— Хватит тебе, — сказал он Дусе, которая, перегнувшись через барьер, вызывала Фердинанда, — я хочу домой.

— Что ты, разве не интересно? — удивилась Дуся. — Разве папу-то не интересно посмотреть, — сказал Сережа-осветитель, — тут что будет дальше?..

Кончилась пьеса совсем скверно. Фердинанд вредным порошком отравил Луизу, которая ни в чем не была виновата. Но президент наговорил про нее, что она против... Фердинанд тоже попробовал, горько ли, и отравился. Под самый конец прибежал отец-президент. Он стал ползать на

коленях и кричать: «Сын мой! Фердинанд! Неужто ни взгляда твоему убитому отцу?!» Но Фердинанд не прощал его. Он и глядеть на него не хотел. «Ага, так тебе и надо», — подумал Вадька. «Неужто ни одного взгляда мне в утешение?» — сказал отец и заплакал. И тут Фердинанд сжалился, попрощался с ним за руку, а сам скорее умер. «Он простил меня! — воскликнул президент. — Теперь я в вашей власти». И занавес быстро закрылся, запахнув свои взметнувшиеся полы.

Дуся спешила домой. Но Вадька от всех переживаний и от позднего часа совсем раскис. И Сережа, потушив свой прожектор, понес его домой на руках. Дома Вадька никак не мог заснуть. Он ворочался, всхлипывал, а потом долго лежал с открытыми глазами и прислушивался: не идет ли папа? Он ждал его и страшился этой встречи. Ему казалось, что все конечно, он никогда не сможет теперь любить отца, который так осрамил себя на людях.

...Гайранский пытался утешить сынишку. Но мальчик отчужденно молчал и отстранял его руку.

— Папочка, не играй больше этого, — сказал он, — ну, не надо. Я тебя прощу... А то тебя все терпеть будут не мог... не моги...

— Терпеть не мочь, — подсказал Гайранский, видя, что мальчик не может справиться со словом.

— Не мочь, — повторил Вадька.

— Да почему?

— Очень уж ты был отвратительный.

— Вот тебе раз! Это же роль такая, чудак ты.

— А зачем ты такую роль себе выбрал?.. Все против тебя были. За тебя никто не был. Ни один человек. Когда дядя Коля тебя хотел шпагой фехтовать, так я и то за него был... Вот до чего ты меня довел совсем. Папа, не играй больше этого. Там один был красноармеец, он даже сказал, что ты тип.

— Так это значит, я именно хорошо играл, — сказал Гайранский, — я же должен был играть... ну... злодея — словом, плохого человека.

— Ты очень плохого играл, — согласился Вадька.

— Вот ты, например, — сказал Гайранский, — вот ты, например, во дворе играешь в войну с Катькой и Ленькой...

— Я с Катькой больше не играю, — сказал Вадька, — она мне вчера в рот песок высыпала, целый куличик.

— Ну хорошо... Но с Ленькой играешь?

— Играю.

— Ну, и я слышал, — продолжал Гайранский, — я слышал, как вы играете, будто за сараем белые и вы их бьете. А ведь за сараем же нет никаких белых? Это же неправда.

— Нет, правда, — сказал Вадька.

— Как правда? — опешил Гайранский.

— А там крапива, мы ее правда топчем, ее не жалко. Мы ее истребляем. Мы как будто истребители.

— Ага, вот видишь, «как будто». На самом же деле вы не истребителя.

— Сравня! — сказал Вадька и даже головой покачал. — Так это же красивые, наши истребители, а ты представлял, что против нас. И мы одни сами, а ты при всех. Сравня!

Видя, что самому ему тут не справиться, Павел Дмитриевич призвал на помощь Шиллера.

— Смотри, — сказал он, — а Фердинанд был лучший сын, чем ты. Даже умирая, он простил меня, ну, то есть, следовательно, отца.

Вадьке понравился этот пример.

— Можете, ты потом исправился, да? — спросил Вадька оживившись.

Сравнение прельстило его. Он сейчас же вообразил: вот он лежит, бледный, умирающий от горя, жестокий отец склонился над ним, как сейчас, и Ленька тут. А Катьки, конечно, нет. Ей давно насыпали в суп ядовитого песка. Нечего ей тут оставаться, на свете. Тут же нянька Дуся плачет и кричит: «Дайте мне умереть у этой святыни... Вот вам рубль десяти сдачи с булочной... оставьте у себя эти проклятые деньги... Не дитя ли мое вы думали купить на них!..» — и, как музыкант Миллер, бросает портмоне на пол. А отец, бледный, рыдает и говорит: «Сын мой, неужто ни взгляда твоему убитому отцу?!» Вадьке стало ужасно жаль и себя, и папу. Нет, придется простить.

— Папа, — сказал Вадька, — папа, а ты опять Чапаева будешь играть?

— Ну, конечно, буду, — сказал Гайранский. — Завтра же и буду. Хочешь, я тебя возьму на утренник?

Ну, все в порядке... Завтра папа опять будет Чапаевым, и все ему станут хлопать, и все будут за него, а он будет выхватывать серебряную казацкую шашку и уходить за сцену на Гражданскую войну. И все, все будут опять за него. Нет, умирать не стоит. И Вадька, строго взглянув на папу, торжественно подал ему руку.

Потом он подтянул руку отца к подушке, прижал ее мокрой щекой, немножко поерзал, чтобы устроиться уютнее, громко глотнул, и день с его

болью, позором и долгой вечерней мукой стал глохнуть и отходить куда-то в сторону, в искристую темь, полную гаснущих лампочек, и мягкие, неслышные створки сперва медленно, а потом все быстрее и быстрее стали сходитья и вот сошлись, запахнулись. День, трудный день Вадькиной жизни, кончился...

Павел Дмитриевич на цыпочках вышел из комнаты и тихо притворил за собою дверь. В столовой над полными бокалами томились музыкант Миллер, и Фердинанд, и леди Мильфорд, и Луиза.

— Он простил меня, — сказал Гайранский, — теперь я в вашей власти. Налей мне, Коля, вон того, легонького...

«ПАПАГУРКА»

— Нет, это не сестрина карточка. Это моя мама такая. Сестры у меня нет. Я вообще один у мамы. Отца никогда не было. То есть он был, только, понимаете...

Мама старше меня на семнадцать лет. А выглядит так молодо, прямо девчонка совсем! С ней даже под руку ходить неловко: ребята в школе потом дразнятся: «Ай, Борька, оторвал себе симпатию...». Она, правда, веселая, и глаза у нее такие задиристые, с занозой (тут на карточке это не вышло). Она на фронте была... ох, она и боевая! Всем нашим девчонкам сто очков вперед даст. У меня с ней до прошлого года очень были хорошие отношения. И дурачились, и возились, и понимали всегда друг друга сразу. «Боря, контакт?» — «Есть контакт, мама!» И она со мной всегда считалась. Даже по работе советовалась, как ей там поступать.

Только в прошлом году у нас одно драматическое происшествие разыгралось.

К нам в квартиру по обмену новый жилец въехал. Рабочий, электрик. Он старше меня лет на девять, но с виду несолидный. Я его могу одной левой побороть. Я два пуда толкаю. Но так он очень веселый был. Мы с ним сразу подружились. А радиолобитель — это просто он был по-настоящему мировой! Он всю комнату свою завалил всякими проводами, лампочками, конденсаторами, вариометрами. И меня прямо опутал этим. Я от него не выходил. Сидим у него в комнате и разговариваем на коротеньких волнах со всем земным шаром. Нет, серьезно! У него знакомые во всех пяти частях света есть. Сидишь ночью с ним и слушаешь, как какой-нибудь тоже радиолобитель с острова Явы чирикает, с нами разговаривает, нас принимает. А Гурий (это жилец) мне про него, как про соседа, говорит: «Это учитель тамошний. Тоже злостный радист. Мы с ним уже второй год двустороннюю держим. Я его перевоспитаваю...».

Мама с самого начала была сильно против вашей дружбы. Я увлекся радио. Ну, и тут сразу занятия начали прихрамывать. Мама очень сердит-

лась на жильца. «Ну вот, связался черт с младенцем, — говорила она, — что это за дикая дружба? Он старше тебя настолько. Удивляюсь, что он находит интересного возиться с таким щенком, как ты. Сам, видно, дурак».

И все критиковала жильца и пускала всякие шпильки. А раз Гурий дал ей, чтобы успокоить, послушать, как наш учитель с острова Явы морзянкой поет. Она послушала, сняла наушники и говорит: «Ну а что дальше?» — «Да ведь это же с острова Явы, — говорит Гурий, — вы только представьте себе — с острова Явы! Чувствуете?» — «Ничего не чувствую. Пищит, и все». И долго она над нами издевалась. И часто я уже потом лягу спать и слышу, как мать в коридоре или в комнате жильца с ним дискутирует. Ну, мы с Гурием на это внимания не обращаем. Мы с ним настоящими друзьями-товарищами стали. Он из старых комсомольцев и хорошие всякие случаи рассказывал из своей жизни, как на Гражданской был маленьким. С виду даже не подумаешь...

Вот раз зашел я к нему вечером в комнату. Его не было. Он поздно приходил, потому что учился после работы. Вижу, около радио у него разноцветные всякие квитанции разложены. Такими квитанциями радиолюбители обмениваются. На них большие буквы позывные. Гурий мне без себя не позволял близко подходить к аппаратуре. Ну а квитанции-то я, надеюсь, имел право посмотреть? И вижу на них и на записях у Гурия одно слово попадает. Какой-то «прозит». А в это время Гурий вернулся. Я его спрашиваю, что такое «прозит»? Он говорит: «Ну, поздравление, значит». Я сразу покраснел. «Ты только не сердчай, Борька, а отнесись, знаешь, товарищески. Ведь мы... Только чур не сердчать. Условились?» — «Условились. Да что такое?» — «Значит, без дураков?» — «Без дураков». — «Ведь мы, Борька, с твоей мамой расписались...» — «То есть как это?» — «Да вот, то есть так...» И тут мне стало очень обидно, и противно, и обидно вот так, прямо по макушку... «Ну, это — хамство! Ты мне после этого не товарищ и не друг», — говорю. А он отвечает: «Правильно, я теперь буду, друг, порядка папаша... Да чего ты обозлился? Давай будем говорить, как мужчина с женщиной». И стали мы говорить как мужчина с женщиной. Снизу даже нам в пол стучать стали, чтобы тише... Мне было что обидно? Всеми миру уже растрепал, уже на острове Яве учитель знает, из Рейкьявика поздравляют, в Капштадте известно, а я тут один, как маленький, ничего не знал. Ну ладно, ладно же!.. И мама тоже хороша! Скрыла, а потом сказать боится. Она, оказывается, Гурию сообщить поручила. А он никак не мог.

Мама услышала наш мужской разговор и боялась войти. Но потом тихонько вошла все-таки и обняла меня.

— Эх ты, — говорю, — героиня Гражданской войны... Все советовалась, а тут вдруг, не спросясь, поженилась!

— Не поженилась, а замуж вышла.

— Все равно, не в этом дело. Вот не приму его в семью. Что вы будете делать? Вот уйду из дому. Зачем вы от меня секрет держали?

Тут мама меня опять обняла и стала говорить, как в театре:

— Боря, мы любим друг друга, ты должен понять.

И мама тут разъехалась, смолкла. А при чем тут плакать?! Гурий говорит:

— Ну, надеюсь, ты не такая свинья, Борис, чтобы подмешивать дегтя в наш медовый месяц?.. Папой меня можешь не звать. Мне от этого мало удовольствия. И дружить по-прежнему будем. Можешь даже теперь супергетеродин без меня трогать. Общий будет. Ну, условились?

А мне вдруг стало очень опять противно и так скучно. Почему-то зареветь потянуло. Ужасно охота была заскулить. Сам не знаю почему. Обидно как-то. Вот жили, жили вдвоем, и здравствуйте! А Гурий агитирует:

— Борька, дурной ты! Ведь у нас верь мир в распоряжении. Такая планета солидная, и жизнь мы такую на ней наворачиваем. А ты чуть-чуть потесниться не хочешь.

И тут, правда, мне немножко неловко стало: все-таки пионер и должен уже понимать... А потом я представил себе: земля большая и дела кругом такие, что закачаешься. Просто совестно тут мелочами жизнь портить. Ну я и согласился. Только просил первое время, чтобы не целовались при мне. Ну а потом и к этому привык. Гурия я стал нарочно звать «папа Гурка». Так его у нас и во всем доме теперь зовут— «папагурка». Он ничего батька. На месте. Растет. Только иногда нос сует свой куда не просят: например, в мои тетрадки. С супергетеродином он меня буквально надул. «Пока, — говорит, — у тебя хоть один неуд будет, к аппарату ни-ни! Чтoб духу твоего в эфире не было...» Пришлось нагонять, подтягиваться. А он еще сам раз пришел в школу к директору. Тот его спрашивает: «Вы к нам поступать?» Гурий говорит: «Я не поступать, я родитель отчасти». А сам сзади как ткнет меня в бок. Я не выдержал и хвать его! А директор смотрит и ничего понять не может.

А ночью мы с ним по всему миру путешествуем. Гурий сделал еще усовершенствование. На днях с Австрией болтали. Какой-то там радиолобитель объёвился, говорит, что безработный кондитер. Врет, наверное, просто буржуй, только стесняется сказать: слышит издали, с кем дело имеет...

ДОЧЬ

Ой, мне об этом рассказывать стыдно и страшно. Все-таки я вам расскажу. Только можно все рассказывать? Как было? Ну ладно. Все равно...

Это вышло к вечеру, часов в шесть. Папа уже пришел с работы. Мы только-только кончили чай пить, и вдруг маме начало делаться плохо. Она ушла в свою комнату и позвала оттуда: «Николай!» Я уже по голосу поняла, в чем дело. А сама представляюсь, будто ничего не знаю. Папа выбежал от мамы серьезный и растяпистый какой-то сразу стал. Посмотрел на меня неловко, потом оделся и сказал: «Я сейчас... посмотри тут за мамой». И побежал. А мама ему кричит вдогонку: «Не надо такси... не успеем. Я чувствую. Беги к Розалии Матвеевне!»

Я осталась с мамой одна. Вдруг мама как зашебуршится на постели, как застонет.

— Валентина, — кричит, — скорей, милая, поставь воду кипятить!..

Я живенько поставила на газ чайник, а сама подбежала к маме. Она лежала на постели бледная, стонала. И глаза у нее были какие-то другие.

— Не уходи, Валюша... посиди тут со мной, — говорит мама.

— Куда же я уйду? — говорю.

— Видишь, Валюша, — говорит мама, а сама, видно, мучается, — видишь, Валюша, я тебе давно хотела рассказать... Жизнь человека, понимаешь, Валя, начинается в мученьях.

— Угу.

— Что «угу»?

— Я говорю: угу, в мученьях...

— А ты откуда знаешь?

— Ну, догадываюсь. Представляю себе, каково это рожать.

— Не смей говорить так, Валентина... — говорит мама. — Видишь, Валюша, когда тебя не было... ох!.. то есть перед тем, как тебе появиться на свет, ты была во мне...

— Ну, ясно, в тебе. Я ведь, кажется, родная, собственная, а не подкидыш.

— Ох, Валентина, оставь... худо мне, Валюша. Ох, я должна сказать... предупредить...

Тут уж я просто не выдержала.

— Мама, ну бросьте вы мне шарики-риторики крутить! — говорю я.

— Что за шарики-риторики? Откуда у тебя такие выражения? Ты за последнее время ужасная босячка стала, Валентина.

— Ну, мама, что я, не вижу, что ли? Это же у тебя схватки начались. Не понимаю просто, чего тут от меня скрывать!

— Это ты так прямо такие слова матери говоришь?

— Что ты думаешь, — говорю я, — нам не объясняли уже, что человек относится к живородящим?

— Тьфу! Замолчи сейчас же. Ох! Не могу... Уходи сейчас же вон.

— Пожалуйста, — говорю, — уйду. Но сердиться нечего. Это естественное явление.

Я вышла в другую комнату и стала волноваться. А мама вдруг как закричит посторонним голосом. Я сначала даже не поняла. Думала: кто-то другой у нее в комнате. Вбежала туда, она катается по кровати и кричит:

— Ой, господи, Валентина, уходи, ради бога, отсюда... Нет, стой! Ой, милые мои, что же делать? Куда же он пропал? погоди! Нет, нет! Убирайся...

Вот самое страшное тут и началось. Я побежала к соседке. Стучала, стучала, звонила, звонила — никого нет. Вернулась обратно и решила организованно взять себя в руки. Я себе заявила ясно и определенно: «Спокойно, граждане, ничего особенного не происходит. Происходит обыкновенное рождение. Давайте мыслить. Что мы имеем? Мы имеем естественное явление (это так наш вожатый говорит). А вдруг война случится? Какая ты будешь пионерка, если так сразу ступуешься? Очень мило с твоей стороны! Нашла момент малютиться! Скажите, какие благородные нежности, барышня Валентина Николаевна!» Но, по правде сказать, эта проработка вопроса не очень помогла. Я все-таки основательно растерялась. А мама вскрикивает, стонет и руками за кровать хватается.

— Боже мой... Ой, господи! За что это наказание, муки такие, боже мой милостивый!

Я нарочно учительничьим голосом говорю:

— Что ты, мама, на Бога кричишь без толку? Бог не виноват, что его нет.

— А что же мне прикажешь — лозунги кричать? Дура! Господи! Что же это за дочка! Ой, ой, Валенька!..

Тут я действительно подумала, что неуместно сказала.

— Ой, Валентина, Валенька, — стонет мама, — прости меня, ради бога... Ой, стыд-то какой!

— Действительно, — говорю, — стыд и позор так тебе думать... Мамочка, не думай об этом, думай про что-нибудь хорошее. Думай лучше, как мы в Сочи в доме отдыха были. Помнишь, море какое было теплое, прямо вареное.

— Ох, не до моря.

— Ты, мамочка, старайся, старайся, чтобы тебе море представилось. Ну как, представляется?

— Ох, представляется...

Ну, дальше все-таки как-то не выйдет рассказывать. Мама вдруг опять стала старшей, строгой и стала все говорить мне тихим голосом, где что взять, что принести, что надо сделать. И я все сделала как надо. Еще потом мама со мной вот так говорила, как будто я уже сама большая выросла. Мне вот так и казалось. И я все успокаивала маму:

— Ну мамочка, золотенькая, ну милая, ну потерпи... Только, если можно, постарайся, чтобы девочка. Терпеть ненавижу мальчишек! Это у меня в порядке ведения к тебе просьба.

— Ох, Валенька, прости ты меня... Ты когда-нибудь, Валя, поймешь... бог даст... сама будешь...

— Еще как буду! Держись только.

И я все прокипятила как надо и все потом тоже как надо перевязала. Мне было очень страшно. Я старалась как-нибудь не смотреть. У меня в голове и внутри все прямо как струнка натянулось. А я боялась, что мама заметит. Ей ведь обидно будет: с ней такое событие в жизни, а во мне какие-то мелкие нюни тошнятся.

И когда прибежал папа с акушеркой, они испугались сами. А я им уже в одеяле вынесла готовенькое и говорю:

— Заходите, заходите, не стесняйтесь... А мы тут уже с мамой девочку родили... Хорошенькая, ну просто кукленочек. А главное хорошо, что не мальчишка. Имя предлагаю — Авиэта, Ава, Авочка. По-моему очень революционно и красиво.

А папа схватился за голову да как сядет на стул, так прямо в пальто и шапке, и говорит:

— Как же это?.. Валентина?.. Как же ты тут? Ничего? Благополучно?.. Ну и бой-дочки теперь пошли. А я, помню, мальчишкой был, так когда мать брата рожала, я так в чулан забился, меня наутро только разыскали, да и то еле за ноги вытащили. А ведь ты у меня героиня, Валентина.

— Это еще с какой стороны героиня?

Тут меня начало с чего-то всю трясти, а потом прошло. Ночью опять начало. А утром опять прошло. А на другой день в школе Зина Свешникова, моя подруга, сказала мне, что у меня такие глаза, как будто я что-то такое большое-большое, громадное увидела. Такое, что как будто всю жизнь не забудешь.

Еще бы! Все-таки учтите, это же — переживание как-никак!

СТАНОВОЙ ХРЕБЕТ

— Тихо, тихо, ребята, — говорит Петр Никанорович и легонько стучит карандашом по краю стола. — Я ведь все слышу.

И в классе становится очень тихо.

— Нехорошо, ребята, — говорит Петр Никанорович. — Вы что же, хотите, чтоб он обманул меня? Стыдно, ребята.

Класс молчит. Молчит и тот, кому только что подсказывали. Он мнетса у карты и смотрит в пол.

— Так прямо бы и сказал, что не знаешь, не выучил, поленился читать. К следующему разу, мол, все буду знать... А то на подсказку надеяться — это последнее дело.

Петр Никанорович говорит негромко и серьезно. Если бы он закричал, затопал ногами, было бы не так обидно. А то от этих правильных слов никуда не денешься. Петра Никаноровича очень уважают в школе: когда он рассказывает географию, в классе так тихо, что слышно, как деревянная указка касается карты. Он рассказывает о городах, реках и горах. Во время Гражданской войны он сам брал эти города, втаскивал на эти горы пушки Красной Армии, сам, подняв винтовку над головой, по горло в воде, переходил вброд эти реки. И сейчас, когда в школе устраивается какой-нибудь праздник или большое собрание, Петр Никанорович Бокарев приходит с орденом на пиджаке. В будни он его не носит. Но все и так знают, что у Петра Никаноровича, учителя географии, орден Красного Знамени за боевые заслуги.

— Нехорошо, ребята, — продолжает Петр Никанорович, — не только меня, себя вы обманываете этой подсказкой. Стыдно!

— Ну да, — раздается вдруг голос с задней парты. — Наверно, когда сами учились, так тоже подсказывали. И вам, небось, подшепывали...

— Мне? — говорит Петр Никанорович. — Никогда! Никогда не подшепывали... А впрочем, постойте, постойте! Верно, было раз. Подсказа-

ли. Но ведь это — совсем другое дело было... Мне вот сейчас сорок, а тогда, следовательно, двадцать лет было. Как раз половинку прожил при старом режиме. Это в семнадцатом году было. Я тогда только что вернулся с фронта к себе домой. Я еще на фронте был выбран в солдатский комитет. Но в голове у меня еще много было бестолковщины. А в Питере довелось мне слышать самого Ленина. Первый раз я тогда его увидел. Владимир Ильич говорил с балкона. Тысячи людей стояли вокруг меня, и все слушали Ленина. Но мне казалось, что Ильич говорит именно для меня, потому что говорил он так, ребята, словно я ему заранее все свои бестолковые вопросы задал, а он теперь на них ответить взялся. После его речи мне все стало понятно и ясно. Я пошел записываться в большевики. Меня приняли в партию и послали в родимый город.

В Октябрьские дни, когда в Петрограде и в Москве уже шли бои, началось и у нас в нашем тихом городке... У нас был крепкий большевистский комитет, и совет рабочих депутатов действовал тоже неплохо. Но из губернии послали к нам для порядка вооруженных юнкеров на усмирение. Комитет вооружил рабочих. Но до нас дошли сведения, что юнкера пристали на пароходе ниже города по Волге и могут нас опередить, занять для боя участки. Меня послали произвести разведку в прибрежном районе города.

Жизнь в городе шла своим порядком. Торговал базар, работали учреждения. В школах шли уроки. Как раз недалеко от берега, пристаней находилось высшее начальное училище. Когда я подошел к училищу, я вдруг заметил, что в переулке рядом с ним показались юнкера. Они оцепляли район. Хотя я был переодет — знакомый телеграфист дал мне свою казенную куртку, — меня все же могли сцапать. Среди юнкеров и офицеров многие знали меня как большевика. У меня не раз бывали с ними стычки в губернии на собраниях. Юнкера шли прямо на меня. Долго думать было некогда. Я вбежал в подъезд училища. Училище стояло на высоком месте, и в боевом отношении это был очень важный для нас пункт.

В училище шли занятия. Коридор, в котором я очутился, был пуст. Из-за закрытых дверей классов доносились размеренные голоса учителей, слова диктанта, скороговорка таблицы умножения, ребячьи запинаящиеся голоса, отвечающие Закон Божий. Только из одного класса доносился шум и гул. Двери этого класса были открыты. В это время у подъезда на дощатом тротуаре зазвенели шпоры, стукнули приклады, затопали тяжелые сапоги. Очевидно, юнкера подходят к школе. Что делать, куда деться?..

В это самое время из открытых дверей класса высунулся мальчик. Лицо у него было очень знакомо мне.

— Дядя Петя! Вы чего тут делаете? — удивился мальчик.

И я узнал его: Сережа Покатов, сын одного из наших рабочих-железнодорожников. Я часто бывал у Сережиного отца: он тоже состоял в большевистском комитете. Я быстро, в двух словах, объяснил Сереже, в чем дело.

— Идемте к нам в класс, — зашептал Сережа. — У нас пустой урок: учитель не пришел. Мы вас спрячем. Вы под парты поместитесь?

— Наверяд ли.

— Ну тогда вы скажите, что вы новый учитель по географии. У нас теперь бывает, что меняются. А на вас вон и пуговицы золотые, телеграфные. Все поверят. А я дежурный сегодня. Молитву надо читать?

— Да нет, говорю, как-нибудь обойдемся и так, без молитвы. Некогда тут. У вас как, ребята, разбираются вообще в делах-то наших?

— Ясно, разбираются, — говорит Сережа. — У нас только один буржуй есть — Семка Скудеев, лавочник.

— Скудеев? Так он же меня знает. Я его папашу из Совета выгнал. Мы у него один лабаз под склад заняли. Он же, чертенок, меня выдаст разом.

— Не выдаст... он у нас пикнуть не посмеет, — говорит Сережа, а сам задумался. — Нет, правда, тогда лучше будет уж ребятам сказать как есть. Ничего, дядя Петя, наши не выдадут.

И вот Сережа влетел в класс и, слышу, говорит ребятам:

— А ну-ка, ребята, цыц! Давай тихо... Мигом! Ну? Вот чего. У нас сейчас новый учитель будет по географии. Только он большевик. Его юнкера могут убить. Он против буржуев. Чур не выдавать! Он с самим Лениным знаком. Кто пикнет, тому — во! И чтоб было тихо, как при настоящей географии.

Вот я вхожу в класс вроде как учитель. Восемь лет в классе не был. Учиться мне до того времени пришлось лишь два года в приходской школе. Но я стараюсь держаться со всей важностью. А ребята смотрят на меня, хихикают. Однако встали, как полагается, дружно. Сережа, дежурный, подал журнал. Я взгромоздился на кафедру. Сижу, как на голубятне, смотрю на все и что дальше делать не знаю. Слышу: уже в коридоре сапоги топаят, позвякивают шпоры. Сережа шепчет: «Дядя, юнкера уже зашли, говорите скорей, будто урок объясняете». А что я мог объяснить тогда? Вижу: висит за спиной большая карта. На ней коричневой, голубой и зеленой краской всякие извилины нарисованы. А как в них разобраться?

И вдруг двери раскрываются, входят офицер и трое юнкеров. Я чуть было по привычке во фронт не стал, но сдержался, усидел.

«Прошу прощения, — говорит офицер и отдает мне честь под козырек, — я должен оставить в классе у окон моих людей. Они вам не мешают, надеюсь? И предлагаю вам продолжать урок своим порядком. Во избежание вредных толков среди населения ни в коем случае не прерывать занятий. Повторяю, прошу соблюдать абсолютно нормальный ход учений. Ясно?»

Откозырял и ушел. А юнкера остались стоять: один у дверей, двое у окон на улицу.

Смотрят, идолы, и смотрят на меня. И лица у них не простые: видать, не то из чиновников, не то из конторщиков. С образованием, словом. Как же тут при них урок вести, когда я ровным счетом ничего в географии не понимаю? Тут я догадался.

— Покатов Сергей, — вызвал я. — Что у нас на сегодня задано? Отвечай.

Сережа выскочил из-за парты, подошел к моей кафедре, расшаркался и давай катать без остановки.

— Так, так, — говорю, — хорошо, Покатов. Только не торопись.

Мне нужно время протянуть, а он частит. Вдруг Скудеев поднял руку и сам косится на юнкеров. «Выдаст, думаю, негодяй». Вижу: все к нему повернулись и под партами кулаки показывают. Скажи, мол, только.

— Позвольте выйти, — говорит Скудеев.

Нет, думаю, нельзя его выпускать: он сейчас же офицеру все расскажет.

— Сиди, сиди, говорю, потерпи немножко.

Он посидел немножко, потом опять поднял руку.

— Ну чего тебе? Сказано: сиди.

— А я не прошусь, — говорит Скудеев, — я вопрос имею. Как вон тот горный хребет называется, что сбоку на карте нарисован?

Я обернулся к карте. Но карта немая. Ничего на ней не написано. Кто его знает, какой там хребет?

И вот тут-то мне, я слышу, класс подшептывает. Ученики подсказывают учителю: «Становой и Яблоновый... Становой хребет и Яблоновый».

— Ты про какие горы спрашиваешь, Скудеев? — говорю я спокойно. — Про эти? А-а, так бы и сказал. Это Становой хребет и Яблоновый. Тебе надо бы знать это. Вы это давно проходили. Давай-ка сюда свой дневник.

Он оробел, подал мне свой дневник, я ему вlepил там такую единицу, что она из географии даже в арифметику влезла.

— За что же единицу? — говорит он. — Вы же меня не спрашивали.

— А за то, что ты таких простых вещей не выучил, — говорю я и шепотом добавляю: — Ничего, ничего, получай, гаденыш! — А потом как закричу: — И пошел в угол носом! На уроках ему не сидится. Становые и Яблоневые горы он не знает! Стой до звонка!

Я покосился на юнкеров. Вот я какой строгий учитель! Ну тут, на мое счастье, звонок раздался: конец урока. Уф!.. Я взял журнал, пошел к учительской, зашел за угол, огляделся: в коридоре юнкеров нет — и прыг через окно в сад, благо там оцепления не поставили.

Вот как я провел свой первый урок. И вот как ребята мне подсказали. Не знал тогда, что мне предстоит потом стать настоящим учителем. После Гражданской войны пошел я учиться и вот теперь занимаюсь, ребята, с вами.

ОДНА БЕСЕДА

Журналист Петр Андреевич Болотов, разъездной специальный корреспондент большой московской газеты, возвращался из далекой командировки домой. Он долгое время пробыл в глуши, вдали от больших центров, и даже газеты раздобывал урывками. Теперь он предвкушал удовольствие от встречи со столицей: настоящий кофе, горячая ванна, свежая газета, любопытные друзья, перед которыми можно будет похвастаться своими странствованиями. Но в дороге Болотов получил встречную телеграмму из своей редакции: «Сделайте остановку станции Мураши колхоз Красный луч организуйте срочно материал Никите Величко спасшем пожара колхозный хлеб больных и детей возьмите беседу»...

Болотов привык к таким пассажирам во время своей многолетней разъездной жизни. Продрогший до костей, добрался он до колхоза «Красный луч». Тут ему сразу указали избу Никиты Величко. Видно, все знали в округе Никиту. Но Болотов не застал хозяина дома. Никита Величко ушел на собрание в колхоз. Корреспонденту предложили подождать часок-другой. Он отогрелся, отошел и, будучи человеком неприхотливым и привыкшим ко всяким превратностям, заснул тотчас, лишь прилег на жесткую скамью.

Проснулся он поздно. В избе горело электричество. Мальчик лет десяти-одиннадцати сидел за столом. Очевидно, сынишка Никиты Величко. Гололобый, большеглазый, с нежным, как у девочки, лицом.

— Ну, что смотришь? — спросил Болотов, потягиваясь. — Кажется, вздремнул я... А?

Мальчик молчал, застенчиво улыбаясь.

Болотов был холостяком и немножко стеснялся детей. Он никогда не знал, как надо разговаривать с ребятами. Он считал, что с детьми надо обязательно шутить, непрестанно острить и задавать им глупые вопросы.

На столе лежали тетрадки и задачник. Было совершенно ясно, чем занят мальчик. Но Болотов все же спросил:

— Ты чего это тут делаешь?

— Уроки учу, — отвечал мальчик, не проявляя особенной любезности.

— Уроки?.. Ну то-то, — сказал Болотов, решительно не зная, о чем ему говорить дальше.

Но мальчик сам внимательно посмотрел на корреспондента и вдруг деловито и даже не смущаясь нисколько спросил:

— Вы командировочный? Да? Вы ведь из редакции? Печатаете, значит?.. Пишете? А печатать не можете? К нам многие ездют — из редакции все, — писать все могут, а печатать никак. А вы из своей головы пишете или с виду?

— Я больше с виду, с натуры, — объяснил Болотов. — Я про твоего отца писать собираюсь. Никита Величко — отец твой?

— Ага, про него уже несколько раз в газете печатали. У него орден даже, «Значок почета».

— Ого-го, — обрадовался корреспондент, — материал, я вижу, начинает ложиться.

Мальчик оказался очень разговорчивым и любознательным. Он без устали расспрашивал Болотова о всякой всячине. Он угостил корреспондента горячим чаем. Он рассказал, как ездил со своим отцом-орденоносцем на областной слет колхозников в город, как их там снимали один раз на собрания, а потом — в цирке, рядом со слоном («вот тут папаян с орденом, тут слон, а тут я сам. Слон здоровый. Который снимал, так, эх, боялся: вдруг цапнет!..»). Время шло. Болотов уже разопрел от выпитого чая, а Никиты Величко все не было. Болотов начал уже тревожиться, что опоздает на поезд. Мальчик продолжал теревить его всяческими расспросами. Он был очень взволнован, узнав, что Болотов «может писать и книги».

— Дядя, а вы не классик? — спрашивал мальчик.

— Нет, — отвечал Болотов.

— Зря, — сокрушенно вздыхал мальчик. — Вот бы я потом ребятам в классе хвастал: к нам классик приезжал, чай пил... И сколько вот к нам ездют, а классика еще ни одного не было... Дядя, а вы ведь в Москве живете? Я сам себе часто в Москве снюсь. Как будто это иду и как будто это навстречу целое войско верхом едет, а впереди Ворошилов, Буденный. Я уже всю Москву во сне перевидал. А только вас никогда сроду не видел еще... Дядя, а правда, там на Кремле такие звезды горят? По 90 пудов каждая весит. Как это их туда тащили! 90 пудов! Чаю еще налить вам?

Вы пейте. Ничего. Папаня скоро придет. Пейте... А вы умеете отгадывать? Вот отгадайте, в каком ухе у меня шебуршится?—спрашивал он, наклоня голову к левому плечу. Болотов угадал.

— Ну, вы очень сразу, надо думать сначала. Так — не игра. А вот сейчас не отгадаете: вот скажите, если вдруг электричество испортилось и лампы нет, как можно сделать освещение в избе? Ага, не знаете. А вот я изобрел сам. Кошек надо насажать. У них глаза в темноте светятся, как светлячки. Вот собрать кошек сто или двести, так от них в избе сразу светло будет. Это я сам изобрел... Чаю налить еще?

— Да у меня, друг, твой чай вот уже где, — взмолился Болотов.

— А вы пояс растужите. Еще стакан войдет. Я налью?

— Мне много чаю пить доктор запретил.

— Это он, наверное, сырой не велел. А у нас чай сроду кипяченный.

— Ну пойми, друг, не чай пить я к вам за тысячу километров приехал. Мне надо написать о твоём отце Никите Величко. Понимаешь? В газету. Газета ждет, это — важное дело. А мы тут с тобой чаи распиваем. Вот ты бы пока рассказал мне, как это у вас тут получилось.

— А чего получилось?

— Ну, пожар-то был, знаешь?

— Это у Шубиных-то?

— Ну я не знаю, где у вас там горело.

— А-а, — сказал мальчик. — Это у Шубиных горело. Рассказать?

— Расскажи.

— Ну, значит, так... А чего рассказывать?

— Ну расскажи, — терпеливо разъяснил Болотов, — расскажи, как твой отец геройски спас из огня...

— А папаня тогда вовсе в городе был. Он к валяльщику за чесанками ездил.

— Ну к какому еще валяльщику? У меня в телеграмме ясно сказано: Никита Величко, спасший пожара... Может быть, у вас еще пожар был?

— Нет, пожар-то у нас один был, — усмехнулся мальчик. — А вот Никит у нас целых два. Первый номер, значит, — папаня мой. А другой номер, который пожегся было, — это и есть я, самый-рассамый Никита Величко. Мы с папаней тезки.

Болотов тихо ахнул и откинулся на скамье к стене.

— Так это ты?.. Фу-ты история. Это, следовательно, писать-то мне про тебя надо?

— А чего про меня писать?

— Как чего! Ах ты герой, шут тебя возьми! Ну быстренько, по порядку выкладывай.

— Ну еще, герой! — сконфузился Никита. — Это так вышло. Невзначай. У нас все колхозники на работу ушли. Картошку копать. А у Шубиных — дедушка Мосеич больной, безногий, и ребят двое. Совсем малюта: Ленька и Макарка. А у Шубиных как раз по-за домом амбар. А я это бежу в школу: порешенные задачки дома позабыл, ворочаться пришлось... Бежу, тороплюсь это... Вдруг гляжу: чего это у Шубиных по двору туман ходит? Вроде из-под крыши натягивает. Я стал, гляжу: а оттуда как вдруг полыхнет! Прямо на меня жаром да огнем. Сразу занялось... А в избе, слышу, криком кричат. И нет никого народу в селе. Пока сбегаете, дозвесьтесь, сгорят живьем. Ну, я порешенные задачки положил подальше, чтобы не спалились. А то жалко: ведь даром я их решал, что ли?.. Пиджаком голову обмотал да и нырнул в самый жар. А в избе дыма полно. Уже подлавка горит. А Ленька с Макаркой на карачках ползают, режут, хрипят уж и за дедушку безногую цепляются. А дедушка Шубин свалился у сеней и не может дальше... Я их, малюта, еле отодрал от дедушки. Макарке даже это... наподдал. Ну, не идет раз... Вы про это не пишите. Не надо. А то еще скажут... Ну, значит, выволок я их на волю. А на воле хорошо. Главное, дышать свободно. И до того, дядя, дышать охота!.. А ведь надо еще за дедушкой... Сгорит ведь! А второй раз еще боязней идти. Закрылся я пиджаком весь и опять туда. Дымище там. Трещит все. А дедушка Шубин, как увидел меня опять, руками замахал: «Куды ты, хрипит, малый, спасайся вон отсюда скорее! Сдалось тебе чужого деда из огня вызволять! Сгоришь! Брось меня! Иди, Никитка, иди, пионер...» Я уже, правда было, бежать, да как он сказал «пионер», — так стоп на месте! От совести еще жарче, чем от огня, стало. Правда, дядя... Я дедушке Шубину говорю: «Какой ты, говорю, чужой, раз мы тут все друг-дружкины». И стал его тащить. Он ходит сам неспособный. У него одна нога, и та задом наперед ходит. А у меня уже дух кончается. Дым потому что — не продыхнуть. Искры зыркают... Боязно. А я все-таки говорю: «Ничего, дедушка, давай как-нибудь шагать на трех ногах». Ну и это... Вытащил все-таки. Упал немножко на воле. Но пока из меня дым вышел, — не дождался, а сразу бегом за народом! У нас в кузне работали. А пинжак прожег весь наскрозь. Ну и все. И писать неинтересно.

За свою многолетнюю работу Петр Андреевич Болотов встречался с самыми различными людьми. Он брал интервью и беседы у наркомов, профессоров, знатных стахановцев, героев воздуха, земли и моря. Но никогда

у него не бывало такого удивительного и неожиданного интервью. Забыв свою профессиональную выдержку, он вскочил, схватил Никиту за плечи.

— Ах ты, Никитка, — пробормотал он, — ах ты, мальчуган ты славный, ах ты... это самое... Ну чего ты на меня уставился?!

Потом он успокоился, посадил перед собой Никиту и стал брать у него беседу-интервью по всем правилам. Ему хотелось отыскать в этом маленьком, скромном большеглазом мальчонке какие-то необыкновенные черты. Как он стал героем? Как он решился на свой опасный подвиг? Что заставило его так действовать? Корреспондент закидал Никиту десятками разнообразнейших вопросов. Что читает Никита? Чем увлекается? О чем мечтает? Как учится? Никита отвечал просто и толково, но ничего удивительного, ничего сверхъестественного не мог обнаружить журналист. Сколько раз уже он видел в наших городах, на станциях, в селах вот таких мальчиков, которые отвечали, что учатся «ничего», и «отлично» есть, и поведение тоже довольно-таки «ничего». «Вот недавно у отца книгу читал, — говорит Никита, — это про этого... как его? Ну вот забыл... Арх... Архимеда. Как он в ванне мылся и даже весу потерял 20 кило... Так и выскочил даже из бани. Вот до чего докупался!..» Но о пожаре из него нельзя было вытянуть больше ни слова. Он отнекивался, отмалчивался.

— Ведь ты же сам мог сгореть! — восклицал журналист.

— Ну так что ж, — удивлялся Никита. — А дедушка Шубин тоже мог свободно сгореть. А хлеб-то рядом в амбаре — шутите? Ведь всего колхоза хлеб. Странное дело! Чай, я все-таки уже не первый год в школе. Да у нас во втором классе «Б» каждый мальчишка бы так на моем месте. Девчонки бы даже — и те. Мы все друг-дружкины... Пинжак только жалко. Новый был, ненадеванный. Из братнина сшит. Ну, меня от колхоза новым зато премировали. Еще лучше!

Больше от ничего не мог рассказать, как ни бился Болотов.

— Это — удивительное дело, — сердился корреспондент. — Всю жизнь вот так. Подвиги совершать умеют, а рассказать толком никто не может. Да если б я на твоём месте, я бы уже расписал. Ведь материал-то какой, играет как!

Упрятав в портфель свои блокноты и записи, корреспондент стал собираться в путь.

— А товарищ Сталин будет читать про меня в газете? — спросил вдруг Никита.

— Ну, конечно, все будут.

Болотов торопливо распрощался с мальчиком. Вдруг Никита остановил его:

— А что это у вас за значок?

— А, ерунда это. Это я немножко альпинизмом увлекался, на Эльбрус ходил.

— На самую верхушку? Вот так да!

— А ты что думаешь? — взбодрился корреспондент. — Я, брат, раньше-то... Это вот сейчас сердце стало пошаливать, Гражданская война сказывается. Я, брат, под Волочаевкой был.

— Ой, вы на фронте участвовали? — так и загорелся Никита. — Ой, дядь, расскажите про войну.

— А что тут рассказывать? Тут рассказывать нечего, да и некогда рассказывать. Окружили нас около сопки, нас было человек пятнадцать, а их добрых полсотни. Ну так пулеметами, гранатами вручную отбились. А меня вот сюда шарахнуло. Ну, в общем, тут нечего рассказывать.

— Вот удивительное дело, — вздохнул мальчик. — Все вот так: воевать умели, да еще как здорово, а попросишь рассказать, не могут толком, все некогда. Эх, если бы я на вашем месте, так я бы уже рассказал...

СОДЕРЖАНИЕ

| | |
|---|----|
| «Президент фон Вальтер» и его сын | 3 |
| «Папагурка» | 14 |
| Дочь | 17 |
| Становой хребет | 21 |
| Одна беседа | 26 |

Лев Кассиль

Становой хребет

Руководители проекта *В. Лошак, С. Кондратов*

Редактор *К. Мкртчян*

Художественный редактор *О. Скочко*

Корректор *Н. Голубцова, О. Крендясова,*

Е. Пищулина, И. Яковенко

Компьютерная верстка *Е. Яковенко*

Подписано в печать 28.02.08 г.

Формат 70x108 ¹/₃₂ Бумага газетная.

Гарнитура «Журнальная». Печать офсетная.

Тираж 57 000 экз. Заказ № 0805390.

ТЕРРА—Книжный клуб.

127206, Москва, Чуксин тупик, д. 9.



Отпечатано в полном соответствии с качеством предоставленного электронного оригинал-макета в ОАО «Ярославский полиграфкомбинат» 150049, Ярославль, ул. Свободы, 97

Народная библиотека «Огонька»

С 1 февраля в каждом отделении Почты
открыта подписка на следующие издания:

| | | | |
|--|----------|---|---------|
| Универсальный словарь: В 4 томах | 1390 р. | Мериме П. Собрание сочинений: В 5 томах | 1250 р. |
| Большая Энциклопедия «Терра»: В 62 томах | 74400 р. | Монтень М. Опыты: В 3 книгах | 890 р. |
| Энциклопедический словарь Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона: В 86 полутомах | 68000 р. | Моруа А. Собрание сочинений: В 10 томах | 2580 р. |
| Михельсон М. Труды по русской фразеологии: В 6 томах | 1960 р. | О. Генри. Собрание сочинений: В 5 томах | 995 р. |
| Детская энциклопедия: В 10 томах | 4620 р. | Островский А. Собрание сочинений: В 6 томах | 1014 р. |
| Энциклопедия «Великий час океанов»: В 5 томах | 2250 р. | Песков В. Сочинения: В 9 томах | 2520 р. |
| Авенариус В. Собрание сочинений: В 5 томах | 990 р. | Похлебкин В. Сочинения: В 6 томах | 1450 р. |
| Алданов М. Собрание сочинений: В 8 томах | 1232 р. | Ремарк Э. М. Собрание сочинений: В 8 томах | 1592 р. |
| Андерсен Х.-К. Собрание сочинений: В 4 томах | 1520 р. | Родари Дж. Собрание сочинений: В 4 томах | 1220 р. |
| Блок А. Собрание сочинений: В 6 томах | 1280 р. | Сабанеев А. Собрание сочинений: В 8 томах | 1456 р. |
| Бунин И. Собрание сочинений: В 9 томах | 1830 р. | Сабатини Р. Собрание сочинений: В 10 томах | 1820 р. |
| Гиббон Э. Закат и падение Римской империи: В 7 томах | 1386 р. | Софья де Сегюр. Собрание сочинений: В 5 томах | 1275 р. |
| Горький М. Собрание сочинений: В 6 томах | 936 р. | Сименон Ж. Собрание сочинений: В 10 томах | 1990 р. |
| Гранин Д. Собрание сочинений: В 5 томах | 1075 р. | Соловьев Вс. Собрание сочинений: В 9 томах | 2080 р. |
| Грин А. Собрание сочинений: В 6 томах | 1242 р. | Уэдсли О. Собрание сочинений: В 6 томах | 1308 р. |
| Долгополов И. Мастера и шедевры: В 6 томах | 1500 р. | Флеминг Я. Собрание сочинений: В 7 томах | 1540 р. |
| Карамзин Н. Полное собрание сочинений: В 18 томах | 3060 р. | Фолкнер У. Собрание сочинений: В 6 томах | 1194 р. |
| Колетт С.-Г. Собрание сочинений: В 7 томах | 1274 р. | Хаггард Г. Р. Собрание сочинений: В 12 томах | 2880 р. |
| Купер Ф. Собрание сочинений: В 9 томах | 1845 р. | Чуковский К. Собрание сочинений: В 5 томах | 1025 р. |
| Лесков Н. Собрание сочинений: В 7 томах | 1015 р. | Ян В. Собрание сочинений: В 5 томах | 1310 р. |